# Новая жизнь

***Представь, что война окончена, что воцарился мир.
Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкере, щебечет на ветке ‘чирр’.
Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква ‘б’
или как мягкий знак, спасают от головокруженья.
Они не нужны, никому, только самим себе,
плитняку мостовой и правилам умноженья.
Это — влияние статуй. Вернее, их полых ниш.
То есть, если не святость, то хоть ее синоним.
Представь, что все это — правда. Представь, что ты говоришь
о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так — с картин
изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю.
С порожденного ими чувства, что ты один
смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую
минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы
в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе.
Их кричащие краски, их увядшие рты
тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы,
о ней легко забывается. Вещи вообще холопы
мысли. Отсюда их формы, взятые из головы,
их привязанность к месту, качества Пенелопы,
то есть потребность в будущем. Утром кричит петух.
В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,
кутаясь в простыню, выглядишь как пастух
четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что слова —
обратное языку пламени: монологу,
пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова;
что в тебе оно видело мало проку,
мало тепла. Поэтому ты уцелел.
Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья
местных помон, вертумнов, венер, церер.
Поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться. Как ни скрывай тузы,
на стол ложатся вальты неизвестной масти.
Представь, что чем искренней голос, тем меньше в нем слезы,
любви к чему бы то ни было, страха, страсти.
Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн.
Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется свита
букв, слагаясь невольно то в ‘бетси’, то в ‘ибрагим’,
перо выводя за пределы смысла и алфавита.

Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким ‘ц’;
классическая перспектива, где не хватает танка
либо — сырого тумана в ее конце;
голый паркет, никогда не осязавший танго.
В новой жизни мгновенью не говорят ‘постой’:
остановившись, оно быстро идет насмарку.
Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той
их стороны черкнуть ‘привет’ и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей
от брошенного на них якобы для острастки
взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,
но в отсутствию в спектре их отрешенной краски.
Многое можно простить вещи — тем паче там,
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,
будучи непрерывен — вроде самопознанья.
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь
на перроне в плаще, приходит без опозданья.
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: ‘кто ты?’ ответь: ‘кто я,
я — никто’, как Улисс некогда Полифему.***